



Окаменевший страх

консерватизм институционального насилия

Lev Gudkov

2 July 2013

Из чего твой панцирь, черепаха?
я спросил и получил ответ:
соткан мною он из страха,
ничего прочнее в мире нет.
Лев Халиф

Обсуждение проблем демократии стран Центральной и Восточной Европы долгое время сосредоточивалось на рецептах и методиках экономических, политических и социальных реформ, оставляя без внимания факторы консервативного сопротивления изменениям. Среди российских и многих западных политологов долгое время были распространены взгляды на Россию как на общество, находящееся в состоянии незавершенного посткоммунистического транзита. Такая логика интерпретации постулирует в качестве исходного пункта изменений “революционные” события 1991 года и соответствующие мотивы их участников. Однако в отличие от классических моделей революции, предполагавших радикальную смену институтов власти (а не просто смену властвующих элит), ельцинские реформы, последовавшие после подавления неудавшегося путча коммунистической номенклатуры, разрушили только некоторые, хотя и крайне важные, институты тоталитарного господства, а также – связанные с ними периферийные структуры управления и идеологического обеспечения. В тот момент устранили лишь две опорные структуры советского тоталитаризма: единственную партию – КПСС (а с ней – номенклатурный принцип организации власти и кадрового контроля над социальной структурой населения, мобильностью общества) и Госплан (институциональную основу директивно-распределительной экономики).

Центральные же институты, обеспечивающие монопольный характер власти, ее “вертикаль”, ее системы массового принуждения, оказались достаточно устойчивыми, но были лишь декорированы заимствованной с запада или собственного производства риторикой демократии, социального и правового государства.



За периодом относительной свободы политической деятельности и СМИ (1991-1997 годы) последовало восстановление системы насилия, которое началось со взятием под контроль путинской администрацией телевидения, прессы или радиостанций, обладающих значительной аудиторией читателей, слушателей, зрителей. Изменение характера их собственности чаще всего маскировалось приобретением контрольного пакета акций или покупкой независимых СМИ людьми, составляющими круг доверенных лиц Путина, олигархами или руководителями крупнейших госкорпораций (например, Газпрома). Далее прошло изменение кадрового состава редакций и установление прямого подчинения их редакционной политики администрации президента. Это наложило свой отпечаток на интерпретацию и, соответственно, на массовое отношение к проходящим в стране процессам. В результате институциональное насилие в России кажется менее значимым, не столь проявленным в сравнении с советским временем, более диффузным, что затрудняет понимание его природы и оценку последствий.

Поэтому при анализе насилия в посткоммунистическом обществе необходимо иметь в виду следующие проблемные и тематические плоскости:

- 1) институциональные аспекты трансформации и изменения (что ушло и что сохранилось в самой системе социальных институтов);
- 2) адаптацию “советского человека” к репрессивному государству, являющуюся главным фактором консервативного сопротивления переменам в стране;
- 3) отказ от коммунистической идеологии и разрыв с советским прошлым, провозглашенные в качестве стратегического курса правительством Ельцина, не затронули важнейших ценностей и коллективных символов, образующих структуру российской и советской идентичности, основу элитарного и массового понимания прошлого и настоящего России.

Суть этих символических представлений составляет *неразрывность сочетания национального величия с насилием*, образующих характерную травматическую структуру коллективного постсоветского сознания. Чувство повседневной униженности и незащитности перед произволом государства, гражданской неполноценности компенсируется культом силы и легким оправданием насилия по отношению к другим. Одно не может быть выражено без другого. Символы коллективного единства (огромная страна) апеллируют к гордости военной мощью империи и ее наследницы – России, ритуалам национальной славы, укрепляют чувства превосходства над другими народами, требуют готовности к мобилизации, одновременно защищая от критической рационализации сакральный статус державной власти, ожидающей от своих поданных жертв и терпения. Это именно то, что называется “фасцинацией зла и насилия”. Не случайно списки “самых великих людей” в истории СССР, мировой истории или истории России, полученные в ходе массовых социологических опросов Левада-центра на протяжении 25 лет, представлены преимущественно великим злодеями – царями, знаменитыми своими войнами (с другими странами или со своим населением), полководцами и тоталитарными вождями и деятелями: Ленин, Сталин, Петр I, Г.Жуков, А.Суворов, Гитлер, М.Кутузов, Наполеон, Александр Македонский, Иван Грозный, Ф.Дзержинский, Л.Брежнев и другие персонажи.^[4]



Значимость подобных структур коллективного сознания может объяснять в какой-то мере не только слабость потенциала гражданской солидарности или аномический характер асоциального индивидуализма в России, фрагментарность группового существования в условиях принуждения, но и девальвацию ценности отдельной человеческой жизни, декларативную готовность подчинить частные интересы интересам государства (при практическом стремлении “выжить” любой ценой и сохранить себя и своих близких). Амбивалентность подобных массовых установок функциональна, она позволяет уживаться с властью любого рода, внутренне дистанцируясь от нее, но внешне демонстрируя ей лояльность и преданность. Такой тип массового сознания парализует возможности политических изменений в России, ведет к “стерилизации” или нейтрализации автономной субъективности перед “величием” национального целого, монополизируемого властями. Сочетание коллективных ценностей и способов практической адаптации к невыносимым требованиям власти порождает либо специфический тип конформистского цинизма и оппортунистического аморализма, либо – в условиях возникающего идеологического вакуума и дефицита легитимности новой власти – становится причиной массового обращения к ресурсам неотрадиционализма, религиозного фундаментализма и компенсаторного русского национализма;

Следует учитывать также и инерцию неререформируемых институтов массовой социализации (средней и высшей школы, юношеских организаций), сохранивших в практике преподавания структуру и стереотипы изложения советской истории. Положение дел осложнил и крах и уход со сцены после распада СССР советской интеллигенции, требовавшей десталинизации и морального суда над коммунистической системой (хотя и не слишком настойчиво). Оба эти обстоятельства (вместе с тихой реабилитацией Сталина в начале 2000-х годов) привели к вытеснению и постепенному забвению страшного прошлого. Стремление к “социализму с человеческим лицом” и осуждение сталинских репрессий в период горбачевской перестройки, отталкивание от тоталитарной системы (в меньшей степени – этически мотивированное сопротивление ей, в советское время наполнявшие смыслом существование носителей культуры), обернулись апатией, нежеланием ничего знать о терроре, *Unfähigkeit zu trauern*, уклонением от моральных требований понять природу насилия, от внутренней необходимости расколдовывания взаимосвязей идеологии, государства и террора.

Сама суть насилия предполагает намеренную дисквалификацию Другого стороной, использующей насилие, отказ в признании за тем, против кого направлено насилие, человеческих достоинств и качеств, субъективной или социальной ценности, автономности, самодостаточности и независимости. Насилие любого рода – психологическое, социальное, физическое – означает, что жертвы для насильника либо априорно обесценены (“лагерная пыль”, “расходный материал”), не представляют собой интереса или значения, либо им вменены такие качества, которые несовместимы с общепринятыми представлениями о “нормальном человеке” или о “сообществе таких как я/мы”. Иными словами, жертвы насилия лишены человеческих или социальных качеств, дегуманизированы или наделены такими свойствами и характеристиками, которые разрешают или даже требуют обращения с ними как с чужими, нелюдьми, животными, зверьми, демонизированными существами, врагами и т.п. (винтики системы, трудовые ресурсы, бандиты, “духи” и т.п.). Речь идет не просто о разделении на “своих” и



“чужих”, но и механизме самоутверждения субъекта применения насилия, акцентирования его ценностного превосходства. Поэтому использование насилия (включая и символического) является условием психологически комфортного существования для новых групп, пришедших к власти сомнительным (с точки зрения легитимности) путем, либо тех, кто отличается комплексом неполноценности, склонностью к агрессии, к авторитаризму, к самодемонстрации при отсутствии достаточных для этого оснований. В обществе, где насилие воспринимается как код доминирования, как “правильное” социальное поведение, владение инструментами или средствами насилия указывает на высокий ранг или социальный статус индивида или группы, то есть придает ему или им значения авторитетности и престижа.

Рассмотрим эти вопросы более детально на примере отдельных институциональных практик – армии, судебной системы и отношений власти и бизнеса, а также – восприятия сталинского прошлого страны.

Институты массового насилия были условиями и механизмами формирования и организации советского “общества-государства” в 1920-е годы. Как бы их ни называть – ЧК, рабоче-крестьянская гвардия, мобилизационная армия, принудительно пополняемая под страхом расстрелов, трудовые фронты, обеспечивавшие проведение политики классовой дискриминации, чисток, лишения гражданских и политических прав, экспроприации собственности у привилегированных слоев и крестьянства, они были первыми по времени появления и функционально наиболее важными на всем протяжении существования СССР институтами. И они же (будучи, естественно, многократно преобразованными) не только сохраняются до самого конца этой системы, но и переходят в новую. Идеологически – и в массовой пропаганде, и в риторике строительства “нового общества” или создания “нового человека” – эти институты всегда трактовались как вспомогательные, вынужденные, инструментальные, а потому – как бы временные (до “победы коммунизма”). Но, как показывает новейшая история России, армия, политическая полиция, спецслужбы, а также так называемые “правоохранительные органы” (прокуратура, следственный комитет, милиция, суд) – оказываются наиболее устойчивыми и не подлежащими трансформации и реформированию институтами.^[5] Сегодня, спустя четверть века после горбачевской перестройки, все отчетливее видна их фундаментальная роль в организации и воспроизводстве всего общественного целого, их символическая, интегративная, а не просто исполнительская функция защиты власти.

Советская система насилия была предельно централизованной и включала в себя неременный контроль за исполнением принимаемых партийных решений на всех уровнях. Она получала мощное идеологическое и пропагандистское оправдание (обстоятельствами “времени”, наличием внешних врагов и внутренних противников социализма, “темнотой” населения, которое следовало силой заставить принять программу строительства лучшего будущего).

Современная система насилия (в отличие от советской) децентрализована, деидеологизирована, не нуждается в каком-то специальном оправдании, предельно коррумпирована, а потому в некоторых случаях вызывает сопротивление общества.^[6] В последние месяцы, в условиях падения поддержки авторитарного режима Путина



эти функции институтов насилия приобретают все более обнаженный характер.^[7]

Дело не только в признании, что главные каналы организованного насилия остались теми же: армия, политическая полиция (КГБ=ФСБ), правоохранные органы, прокуратура, суд, но в понимании того обстоятельства, что без них органы исполнительной власти и административного управления населения оказываются недееспособны.^[8] Российское правительство и бюрократия могут функционировать только посредством оставшихся неизменными по существу тоталитарных институтов насилия.

Дополнительными каналами государственного принуждения следует считать институты социализации, прежде всего – среднюю школу, остающуюся средством жесткой дрессуры подрастающего поколения, и институты пропаганды или обеспечения легитимности режима: зависимые от государства федеральные СМИ, в первую очередь самые важные – государственное телевидение, монополизированное администрацией президента. Школа (средняя и высшая), которым навязываются идеологические функции (воспитания патриотизма, православного образа мысли) сегодня находится в перманентном состоянии кризиса или даже разложения, не имея возможностей отвечать современным вызовам.

Центральные институциональные звенья прежней системы устояли только благодаря резкому сокращению распределительных функций государства. Отказ от множества социальных обязательств сделал ненужным существование плановой государственной экономики, что привело к замещению или даже смене механизмов управления (конвертация власти в деньги освобождало руководство страны и регионов от сковывающих хозяйственную практику догматов идеологии и номенклатурного партийно-хозяйственного дублирования управления). Режим больше не нуждается в каком-либо идеологическом оправдании, он уже не ставит перед собой нереальных целей тотального изменения общества и человека. Рассматривая себя как самоценную силу, власть озабочена лишь вопросами самосохранения. Главным мотивом политической деятельности руководства страны, начиная с середины 1990-х гг., стала потребность в защите от оппонентов – недовольных режимом групп населения или отдельных фракций внутри высшего эшелона руководства страны, стремление к иммунизации власти. Прежний разветвленный, капиллярный контроль и надзор над идеологической лояльностью сменился экономическим и юридическим принуждением, инструментами которого стали налоговые, правоохранные и судебные ведомства (собственность в обмен на лояльность). Сегодня прокуратура, следственный комитет, МВД, полиция, суд, официальные СМИ нацелены в первую очередь на дискредитацию критиков путинского руководства и подавление их ресурсов, что не предполагает физическое уничтожение противников режима, а только лишение влияния их на общество (например, путем отсечения их от доступа к наиболее влиятельным федеральным каналам ТВ и самым тиражным газетам), вытеснение противников из избирательного процесса, лишение их собственности и бизнеса. Эта политика формирования консервативного авторитарного и полузакрытого режима завершилась вначале – ограничениями полномочий, а с 2004 г. – фактической ликвидацией местного и регионального самоуправления, а также полным подчинением крупного бизнеса интересам политической верхушки. После этого оказались подорваны источники отечественной поддержки бизнесом



неправительственных организаций, представлявших угрозу режиму самим фактом авторитетности и независимости.

Со второй половины 2008 года Россия вступила в фазу кризиса правления этого типа, последствия которого сегодня еще не вполне ясны.^[9]

В сравнении с советской практикой тотального, жесткого, директивного управления всеми сторонами жизни общества, нынешнее руководство страны обладает гораздо более гибким набором средств управления и принуждения. Объем распорядительных полномочий у руководства страны существенно сократился в результате отказа государства от многих социальных обязательств или снижения уровня предоставляемых гарантий, но это обстоятельство сделало режим более устойчивым, поскольку уменьшило ответственность и зависимость власти от общества. Принуждение населения к выполнению тех или иных функций обеспечивается уже не посредством многократно дублированного контроля (партийного, административного, идеологического, полицейского) или угрозами репрессий и террора, хотя и ими тоже, а средствами экономической политики (включая и налоговую, а также монопольное установление тарифов на продукцию государственных компаний – электроэнергию, железнодорожные перевозки, газоснабжение, ЖКХ и т.п.), угрозой лишения ресурсов, перераспределением собственности, политическим шантажом, административными технологиями управления избирательными процессами, “мягкой” цензурой информационных каналов и т.п. До последнего времени путинский режим предоставлял обществу относительную свободу в сферах, находящихся вне зоны интересов самосохранения власти или устойчивости действующей политической системы. Поэтому в тех областях общественной жизни, которые не связаны напрямую с организацией отношений власти и подчинения, а именно: в сфере массовой и авангардной культуры, малого бизнеса, потреблении, коммуникаций, социальной мобильности, платного образования, в гуманитарных и социальных науках и др. – изменения шли быстрыми темпами и были значительными и успешными. Особенно важным здесь стало появление децентрализованных систем коммуникации – интернета, мобильных телефонов, опосредующих частные отношения людей, а также – коммерческих, то есть независимых, каналов кабельного телевидения, издательств, радио и прессы.

Армия

Социальные функции массовой мобилизационной армии (комплектуемой на основе всеобщей воинской обязанности) никогда не ограничивались задачами национальной безопасности и обороны от внешнего агрессора. Армия остается важнейшим ресурсом власти, поддержки определенного политического курса, источником управленческих кадров высшего и среднего уровня. Армия – важнейший механизм социального контроля по отношению к высшему уровню политического руководства, влияющий на подбор кадров, сохранение и репрезентацию базовых ценностей тоталитарного общества. Применение армии в качестве силового аргумента возможно в редчайших ситуациях раскола внутри высшего руководства, открытой конфронтации высших клик и группировок. В этом плане российская (как и советская) армия далека от образца преторианской гвардии, готовой на военный переворот или путч. В реальности армия оказывается важнейшим институтом социализации и идеологической – националистической или, как официально ее



называют, “патриотической” – обработки социальной периферии, бедных и бесправных групп населения, главным образом молодежи, относящейся к нижним слоям общества, депрессивных малых городов, села, либо не имеющих средств откупиться от призыва, либо, напротив, рассматривающих срочную службу в армии как канал вертикальной мобильности, способ приобретения рабочей профессии и т.п. Через этот институт насилия и принуждения (основная цель которого – навязывание представлений об иерархическом обществе, где моральные, правовые, ценностные значения человека определяются занимаемым им статусом, где подавляется идеи универсального права и морали, где мир делится по архаическому принципу “свои/чужие”) проходит даже сегодня, в условиях кризиса армии, как минимум каждый третий мужчина в России. Именно полученный здесь опыт становится основой антимодернизационного социального капитала у значительной части населения (не менее 40-45%), составляющего социальную базу путинского режима. Армия как образец закрытой, архаической социальной организации (бюрократии массового насилия) обеспечивает условия для репродукции тех ценностей и норм, которые служат компонентами или символическими образцами для массовой идентификации, включая сюда и образ общества как единого организма, подчинения обывателей общим задачам “сохранению целого” (то есть действующего режима и связанного с ним социального порядка) и противостояния чужим влияниям. Армия в сочетании с другими институтами (например, фундаменталистской пропагандой РПЦ) образуют единый комплекс консервативных националистических и самых примитивных представлений о человеке и его отношениях с государством. Она была и остается школой жестокости, архаических представлений о силе и справедливости (дедовщина). Участие армии в локальных войнах и конфликтах, таких как Чечня или Дагестан (через которые прошли по разным оценкам от 1.5 до 2 млн. молодых мужчин), привело к накоплению огромного количества агрессии, посттравматического опыта, которое затем волнами распространяется по всему обществу,. Наиболее оно ощутимо в тех средах, которые обладают наименьшими социальными ресурсами (образованием, профессиональной квалификацией, доходом, доступом к информации), главным образом – в провинциальных малых городах и в селах.

Суд

Не менее существенную роль в консервации институционального насилия играет судебная система. Массовое отношение к судам в России мало изменилось с советских времен: суды, как показывают социологические исследования, воспринимаются главным образом как репрессивно-карательный орган, функция которого – защита власти (вне связи с тем, у кого в руках находится власть в текущий момент).^[10] Обращения в суд люди стараются избегать всеми силами, расценивая споры даже по гражданским делам как самую крайнюю и очень болезненную меру. Если в хозяйственных и гражданских делах (в случае отсутствия специфически корпоративных интересов власти или влиятельных групп) вероятность вынесения справедливого приговора, по мнению опрошенных, достаточно велика и составляет 50:50, то в конфликтах гражданина и государства или обывателя и чиновничества, дело априорно считается проигранным (в этом убеждено 80-85% опрошенных). Большая часть населения чувствует себя беззащитной перед произволом государственной бюрократии, люди убеждены, что в России сложилась система круговой поруки ухода от ответственности людей,



наделенных властью (так полагают 79% опрошенных, ноябрь 2012 г.^[11]). Государственный аппарат исполнительной власти по-прежнему мнит себя единственным хозяином общества, обладающим полной монополией на управление всеми сферами общественной жизни, от экономики до морали или религии, несмотря на продекларированные в Конституции принципы разделения власти и демократии.

Поэтому состояние массового правового сознания можно определить как правовой релятивизм, обусловленный необходимостью приспособления населения к двойственной структуре российского социума: сочетанию государственных институтов, лишенных контроля со стороны общества, и новых социальных, моральных и экономических отношений, не получающих адекватных правовых механизмов регуляции. Правовой цинизм, “двоемыслие”, воспроизводится систематически, постоянно, поскольку он возникает из противоречия между принципами, декларированными в Конституции РФ, но не реализованными на практике, то есть из расхождений между законами и правоприменительной практикой. Это не частные недоработки или отдельные дефекты судебной системы, а следствия новых, неконституционных форм политической и судебной организации власти, а именно: сложившегося авторитарного режима, с одной стороны, и латентных форм или структур децентрализованной власти, апроприации власти (ее средств и ресурсов) на среднем уровне управления – уровне региональной или низовой бюрократии или государственных корпораций, с другой. Нарастающая сложность социальной жизни в постсоветское время, интенсивная социальная дифференциация и автономизация различных сфер, требующие адекватной правовой регуляции, вступают в противоречие с сохранением старых, советских принципов доминирования государства, неподотчетного обществу и неконтролируемого им.

Подчинение судебного процесса следственным органам и прокуратуре, обусловленное ведомственными взаимосвязями, корпоративной солидарностью, духом и традициями стоящих над обществом “органов” безопасности и “общественного порядка”, кадровых взаимосвязей^[12], оборачивается неравноправием сторон в судебном процессе, ведет практически к полному отсутствию оправдательных приговоров^[13]. То, что половина населения России сознает себя находящимся вне правовых рамок, лишена уверенности в возможности найти защиту от произвола со стороны влиятельных социальных групп, не является случайным обстоятельством или реакцией на какое-то конкретное событие, а представляется продуманным и аргументированным выводом из сложившейся практики взаимодействия граждан с государством. Избирательный характер российского правосудия, служащий оправданием знаменитого “русского терпения”, то есть общественной пассивности и тактики “понижающей адаптации” к происходящему, приспособлению к зачастую иррациональной с точки зрения населения и непредсказуемой политике власти, а соответственно – оправданию собственного пренебрежительному отношению к законам.

Доминирование в общественном мнении представлений о том, что правоприменение, толкование закона принципиально различается в зависимости от социального положения участников судебного процесс, неизбежно ведет к эрозия сферы права или к двусмысленности границ закона, размыванию самой идеи



законности. Если суды, как полагает большинство россиян-респондентов социологических опросов, руководствуются не объективным статусом права, а ориентированы на интересы защиты власти, то правовой релятивизм оказывается в социальном смысле функционально необходимым для сохранения нынешнего характера взаимодействий граждан и власти, отношений внутри сообщества. Он является условием приспособления поданных к бюрократическому произволу, с одной стороны, и восприятия произвола как неизбежного, то есть естественного порядка вещей. Такие структуры массового сознания оказываются важнейшими характеристиками “советского человека”, воспроизводимыми от поколения к поколению.

В результате правонарушение в общественном мнении теряет характер криминальности, социальной или групповой отмеченности (связь с преступным миром), а распространяется на те социальные слои или среды, которые принципиально не должны были бы считаться “правонарушителями”. В общественном мнении закон нарушают “все” (начиная от обычных граждан и кончая представителями государства), хотя чаще, по мнению россиян, преступает нормы права именно бюрократия, чувствуя себя стоящей над законом и обладающая монополией на его толкование. В таком случае закон как всеобщее общественное благо обесмысливается и превращается в свою противоположность – инструмент избирательного насилия, как мы видим это на примере процессов М.Ходорковского, экологов, ученых, обвиняемых в шпионаже или в готовящемся сегодня процессе над участниками антипутинских демонстраций в Москве. Напротив, громкие скандальные дела против региональной мафии, включавшей местную администрацию и полицию (так называемую дело в станице “Кущевская”) или коррупционные дела в министерствах обороны, сельского хозяйства, образования, космической отрасли, прокуратуры и т.п. остаются без завершения.

Особенно ярко проявляются эти противоречия между императивами формирования рыночной экономики и старой правовой системы. Примерно каждый шестой предприниматель в России находится в заключении по реальным или сфальсифицированным обвинениям. Определить масштабы сфабрикованных дел по экономическим преступлениям крайне трудно, поскольку 9 из 10 возбуждаемых обвинений по “экономическим” статьям уголовного кодекса не заканчиваются приговором, что заставляет видеть в таких судебных делах проявление нечестной конкуренции, то есть использование следственного аппарата или прокуратуры как инструмента рейдерства или вымогательства, непрерывного передела собственности с участием бюрократии. Сегодня отсутствие независимого суда осознается формирующимся средним классом как главное препятствие модернизационного развития страны, ее экономического роста. Без независимого суда не может быть гарантий частной собственности, а стало быть, мелкий и средний бизнес, не имеющий административной “крыши” и защиты от произвола, не рискует вкладывать имеющиеся средства в долгосрочные инвестиционные проекты, в новые технологии, в развитие производства.

Заявленные в Конституции правовые принципы разделения ветвей властей и “сдержек и противовесов” крайне слабо осмыслены российским обществом и приняты скорее как общие декларативные пожелания, а не как реально действующие формы организации российской власти. Признание желательности



независимости судей и суда сдерживается рутинным патернализмом населения, согласно установкам которого в нынешних условиях лишь “добрый царь” (авторитарный и полновластный глава государства) может обеспечить защиту граждан от административного произвола нижележащих органов управления. Иначе говоря, мы сталкиваемся с противоречием содержательного и формального права в общественном сознании, с рутинным традиционалистским представлением о том, что справедливость и защита может исходить лишь от того, у кого в руках вся полнота власти. В массовом сознании отсутствует идея взаимодействия ветвей власти, нет самого понятия правового государства, полностью уничтоженного за время советского правления и замененного на представление о “классовом характере права и правосознания”.

Поэтому российские судьи воспринимаются большей частью общества как люди, несомненно, профессионально подготовленные и квалифицированные, но судящие несправедливо, бездушно и необъективно, всегда в интересах центральной власти или местной бюрократии. Последствиями такого положения становятся, во-первых, общераспространенная гражданская апатия и общественная пассивность населения, смирение и чувство иррациональности, непредсказуемости будущего, если не сказать – безнадежности и социальной уязвимости; а, во-вторых, аккумуляция колоссального потенциала диффузной агрессии и аномии.

Число только официально зарегистрированных преступлений поднялось с 1.8 млн. в 1990 г. до 3.4-3.6. млн. в 2007-2008 гг. (у авторитетных криминалистов, например, у В.Овчинского) эти данные вызывают сомнения, особенно статистика тяжких преступления; по их мнению, они занижены в 1.5-2 раза). Численность заключенных или находящихся в следственных изоляторах, после некоторого снижения, сегодня составляет свыше 1.3 млн. человек (примерно 85% из них мужчины).^[14] Тюремная среда в России ломает большую часть попавших туда, 40% осужденных становятся рецидивистами. Через лагерь и тюрьму (“зону”) прошло по разным оценкам от 15 до 18% наличного мужского населения страны, преимущественно из нижних социальных страт, жителей провинции, села и малых или средних городов, где сохраняются условия для хронической социальной депрессии, дезорганизации, преступности и алкоголизма. Именно эта среда поставляет основной контингент для призыва в армию, т.е. застойную массу населения, которую систематически воспроизводят институты насилия, порождающие специфическую субкультуру повседневной, “немотивированной” агрессии.

Экономика

Главным мотором трансформации прежней тоталитарной системы в авторитарную становится появление у государственной бюрократии собственных экономических интересов и последующая апроприация отдельными кланами или группами чиновников инструментов власти и контроля над финансовыми потоками. Приход Путина и укрепление во власти бывших кgbшников (в 2000-2002 гг.) потянул за собой не только возврат к последовательной политике систематического подавления оппозиции, масштабным манипуляциям на выборах, отмену выборности и переход к президентскому назначению губернаторов, превращения СМИ в орудие пропаганды или политических технологий, но и перераспределение государственной или корпоративной собственности в пользу кланов, контролируемых бывшими



сотрудниками спецслужб, использующих ресурсы институционального насилия уже лишь в своих корпоративных, частных или групповых интересах.

Сращение государственного аппарата и бизнеса означает фактическую децентрализацию власти, внешне приобретающей форму коррумпированности аппарата управления. Сегодня под контролем государства находится по разным оценкам от 60 до 70% национальной экономики. Специфика российской приватизации госсобственности (признание властью “права на условную собственность” в обмен на лояльность) ведет к монополизации экономики и приоритетности сырьевых отраслей, с одной стороны, складыванию крайне неблагоприятных условий для мелкого и среднего предпринимательства, оказывающегося в хронически депрессивном состоянии из-за административного произвола и налогового прессинга, с другой.

Сложившаяся при Путине система отношений бизнеса и власти нацелена на подчинение экономики интересам самосохранения власти, то есть на проведение преимущественно консервативной внутренней политики. Режим не рассматривает в качестве своей опоры средний и малый бизнес, работающих почти исключительно в реальном секторе экономики (а стало быть – ориентирующимся главным образом на общество, на удовлетворение запросов населения, готового платить за услуги, товары, необходимые в повседневной жизни). Скорее напротив, видит в нем растущую угрозу своему существованию, поскольку развитие означает появление автономных групп и областей общественной жизни, предъявляющих требований институциональных реформ и свободы. Власть объективно “заинтересована” в слабости бизнеса, в его подчиненном положении. Быстрое развитие предпринимательства могло бы привести к появлению сильного среднего класса, требующего реального разделения властей, прежде всего наличия независимого суда. Усилившийся налоговый и административный прессинг привел к тому, что только за последний год численность предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей сократилась на 300 с лишним тысяч. Социальная база путинизма – депрессивная индустриальная Россия, сохранившая государственно-патерналистские иллюзии и надеющаяся на помощь государства в условиях хронического кризиса или угрозы падения жизненного уровня. Но именно здесь, в этой социальной среде сильнее проявляется инерция институтов насилия. Власть рассчитывает главным образом на доходы от сырьевого экспорта, то есть на связь с богатыми и экономически развитыми странами. В этом плане режим не зависит от благополучия населения и положения дел в стране (если только не доводить население до крайности, что он старается не допускать, распределяя сырьевую ренту в соответствии со своим пониманием опасности социального протеста в тех или иных регионах). Ослабляя зависимость политических структур от общества и ограничивая представительство групповых интересов, руководство страны тем самым снижает вероятность успеха рыночных реформ и эффективность экономической политики переходного времени. Сложившаяся к середине 2000-х годов политико-экономическая система блокировала возможности гражданского самосознания и способствовала сохранению или реанимации государственно-патерналистских установок населения, консервации стратегий выживания через снижение запросов, пассивного терпения, адаптации общества к произволу.

Таким образом, советский тоталитаризм после ликвидации идеологической



монополии КПСС постепенно преобразовался в авторитаризм, своеобразный российский вариант которого (“путинизм”) сохраняет все присущие режимам этого типа особенности. Основные черты его зафиксированы еще Х. Линцем в его типологии тоталитарных и авторитарных режимов. Режим опирается на олигархические группировки, на “силовиков”, на высшую бюрократию и директоров крупнейших государственных корпораций, контролирующую финансовые потоки. Режим деидеологизирован; он больше не нуждается в миссионерской идеологии строительства “нового общества” или экспансии на другие страны; напротив, он принял в качестве основы для своей легитимации имитационный традиционализм (православие и русский национализм), упор на “русских национальных ценностях” (в качестве которых оказывается терпение, антиинтеллектуализм, антизападничество, послушание начальству, неприятие либеральных ценностей и т.п.), признание “особого пути” или “исключительности русской цивилизации”, искусственно созданную (воспитанную) пассивность и политическую апатию населения, являющуюся условием манипулирования на выборах и подчинения власти.

Вытеснение прошлого. Возвращение Сталина

Апология авторитарной и свободной от ответственности власти возможна лишь в ее качестве хранителя национальных ценностей, символов и значений всего целого при одновременной дисквалификации и обесценивании всего частного и индивидуального. Поэтому “освобождение” от чувства вины (вытеснение стыда, травматического комплекса неполноценности) за прошлое (массовые репрессии, бедность, непреходящее чувство повседневного унижения) оборачивается расширением зоны публичного аморализма и цинизма, с одной стороны, и пассивным принятием путинского режима, с другой, точнее – невозможностью организованного публичного сопротивления. Дефицит коллективных ценностей, слабость общественной морали в новой России заставляет путинский авторитарный режим искать источники своей легитимности в обращении к любым формам “патриотизма” и “национальных традиций”, от православия до “героев труда” и строителей коммунизма, от легенды “изгнания поляков” из Москвы в 1612 году до победы над Наполеоном в 1812.

Масштабная программа консервативной реидеологизации общества, развертывающаяся после прихода Путина к власти, достигла своей кульминации во время подготовки к празднованию 60-летия Победы над Германией. Имя Сталина, в период перестройки неприемлемое в качестве публичного символа, стало вводиться в историческом контексте Второй мировой войны. Сталин оказывается неразрывно связанной с Победой в 1945 г., с национальной гордостью, что, собственно, и заставляет чиновников вводить его в школьную программу, несмотря на все противоречия, связанные с “темными местами” сталинского правления. В 2012 году Иосиф Сталин в регулярных опросах Левада-центра впервые за все время измерений (1989 -2012 гг.) возглавил список “самых великих людей в мировой и отечественной истории”: его в таком качестве назвали 42% опрошенных.^[15]

Сталин-генералиссимус, Сталин – Главнокомандующий, Сталин – один из трех мировых лидеров союзников по антигитлеровской коалиции и авторов послевоенного раздела Европы и т.п. стал привычным персонажем помпезного ритуала националистического самовосхваления и утверждения превосходства



России над другими странами. В таких рассуждениях (Сталин – “эффективный менеджер”, модернизовавший отсталую крестьянскую страну, “пусть и суровыми, но неизбежными в тех условиях средствами” насилия) всегда противостоит враждебно настроенному к России “лицемерному” Западу с его “витринной демократией” и “демагогией прав человека”. Он спас страну, которую распродают либералы, провоцирующие в своих корыстных интересах “распад России” по тому же сценарию, как это было с СССР. Подобные тезисы как мантру непрерывно повторяет путинская пропаганда.

Образ сталинизма или сталинского времени в современном массовом сознании соединяет два пласта значений: иррационального ужаса (плоскость частного существования, с которым идентифицирует себя обычный человек), и мифологического плана – коллективного героического существования, мобилизационного общества, где значения и ценность отдельной жизни определяется по шкале коллективного энтузиазма, самопожертвования и сознательного аскетизма. Одновременно героизация или мифологизация сталинского периода СССР предполагает отношение к ней как к давно прошедшей и закончившейся эпохе, а потому не требует от обывателя идентификации с жертвами репрессий или сочувствия им. Соединяет оба плана отталкивание от того времени, вытеснение травматической истории, страх перед повторением прошлого, а потому – нежелание ничего об этом знать. Фактически – это способ отделить себя от прошлого и его моральных оценок, с одной стороны, а с другой – уйти от этической необходимости осмысления и рационализации истории. Страх перед историей (бессознательно налагающий табу на перенос отношений к власти того времени на настоящее) оборачивается нежеланием что-либо знать о том времени. Он рождается из подспудного понимания, что человек сегодня точно так же незащищен перед произволом власти как и тогда, что он точно также не в состоянии сегодня контролировать обстоятельства собственной жизни и ее благополучия, как и в советское время, тем более – во времена сталинского террора. Напротив, осознание значимости и актуальности советской истории непосредственно связано с пониманием природы и истоков нынешней системы институционального насилия. Поэтому вытеснение прошлого, забалтывание этих проблем в ходе многочисленных развлекательных телешоу, телесериалов, “гламуризация” темы “Сталин” и “сталинский террор” (“Сталин light”, “Сталин с нами”, “Кремлевские жены” и т.п.), оборачивается массовой готовностью терпеливо принимать все происходящее сегодня и держаться подальше от политики, отказываясь от ответственности и личного участия в публичной жизни.

Тем самым нынешними фабриками массовых смыслов (пропагандой, ТВ, политиками) производится крайне важный социальный и моральный эффект: вырабатывается пассивно-страдательное отношение к прошлому, представление о бессубъектности истории (а значит – о такой жизни, в которой нельзя найти ответственных за проводимую политику, включая установление вины за те или иные государственные преступления). Это проекция восприятия самих себя в прошлом у россиян определяет их отношение к нынешней власти и к своему настоящему. Лишенный собственной воли и горизонта понимания происходящего, такой персонаж способен лишь к пассивной защите себя самого и своих близких, его надежды и запросы ограничены стремлением выжить в обезличенной атмосфере беспричинного ужаса и угроз, исходящих отовсюду.^[16] Скрепляет и цементирует



конструкцию понимания всего происходящего идея народа как органического национального целого, существование которого постулируется как более значимая вещь, нежели ценности отдельной человеческой жизни.

В российском обществе сегодня нет признаваемых всеми моральных и интеллектуальных авторитетов, способных не просто выдвинуть другой образ прошлого, но и добиться того, чтобы его приняла большая часть общества. Население само по себе не в состоянии при данных условиях осмыслить и принять реальное, а не декоративное прошлое страны. 77% респондентов заявляют, что “мы никогда не узнаем всей правды о сталинском времени”, но ненамного меньшее число россиян полагает, что и искать ее не стоит – поскольку объективной “истины в истории не может быть”. Единственной реакцией на фрустрирующее знание о сталинских репрессиях оказывается общественная прострация и желание обо всем этом “забыть”. Собственно, именно этот результат и является целью путинской технологии господства.

СНОСКИ:

[1] Lipman M., Gudkov L., Bakradze L. The Stalin Puzzle: Deciphering Post-Soviet Public Opinion. Ed by Thomas de Waal. Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 2013.

[2] В определенной мере этим объясняется почти всеобщее доверие церкви, носящее характер магии, трансферта ответственности или компенсации чувства моральной несостоятельности постсоветского человека. – см.: Зоркая Н. Православие в безрелигиозном обществе // Вестник общественного мнения, 2009, №2 (72), с.66-85

[3] Лев Яковлевич Халиф (род. в 1930) – русскоязычный еврейский поэт, член Союза писателей СССР (исключен в 1974). В 1977 году эмигрировал в США. Эти стихи стали известны по их цитатам в романе В.Гросмана “Жизнь и судьба”.

[4] Советский простой человек, М.1993, с. 283; Гудков Л. Время и история в сознании россиян. Статья вторая. // Вестник общественного мнения, 2010, №2, с.13-61

[5] На протяжении двадцати лет, начиная с 1992 года были предприняты 11 безуспешных реформ армии с целью преобразовать массовую мобилизационную армию советского типа, основанную на всеобщем призыве всего мужского населения, достигшего 18 лет, в мобильную и высокотехнологичную армию, в которой всеобщая воинская обязанность была бы заменена контрактной системой, то есть работой профессиональных военных специалистов. С отставкой министра обороны А.Сердюкова, обвиненного в коррупции, служебных злоупотреблениях и прямых хищениях огромных государственных средств, очередная попытка реформирования армии была признана нежелательной и реформа остановлена. То же самое можно сказать о провале многочисленных попыток реформирования КГБ-ФСБ (разделения ведомства на отдельные части, затем их объединения и т.п.),



“модернизаций” или “санации” полиции, прокуратуры и следственных органов, а также – реформ судебной системы с целью обеспечения реальной независимости судей от исполнительной власти.

[6] Как это было, например, в январе 2005 года при принятии закона о монетизации льгот, болезненно отразившемся на пенсионерах.

[7] С нарастанием массовых протестов против путинского режима резко увеличились государственные расходы на бюрократию в целом, но особенно – финансирование силовых структур: армии, спецслужб, МВД и других ведомств. Сегодня расходы на “национальную безопасность” в 2.5-2.7 раза сегодня превышают расходы бюджета на здравоохранение, образование и науку, вместе взятые.

[8] Реакция системы в целом на подобную некомпетентность властной верхушки, как и в позднесоветское время, заключается в увеличении слоя исполнителей, росте численности чиновничества и бюрократии в целом, при одновременном резком ограничении каналов вертикальной мобильности. Только за 10 лет (с 1994 по 2004 гг.) общая численность сотрудников властно-государственных органов увеличилась на 31% (с 1004.4 тыс. человек до 1318,6 тыс. человек), в том числе – в структурах исполнительной власти на 23%; суда, прокуратуры – на 80%, в законодательных органах – в три раза. Несмотря на все заявления о необходимости борьбы с бюрократией, численность аппарата продолжала расти в последующие годы. При этом неэффективность государства становится все более очевидной и все чаще оказывается предметом публичной критики.

[9] См. Россия-2020. Прогнозные сценарии. Под ред. М.Липман и Н.Петрова. Московский центр Карнеги – РОССПЭН, 2012.

[10] Гудков Л., Дубин Б., Зоркая Н. Российская судебная система в мнениях общества // Вестник общественного мнения, 2010, №4 (106), с. 7-43.

[11] Общественное мнение-2012. Ежегодник. М., 2012, Левада-центр, с.34, табл.3.6.5.

[12] Обычная в России практика предполагает рекрутирование судей из числа работников следственного аппарата, полиции или технического персонала суда.

[13] Доля оправдательных приговоров в России составляет 0.8-0.9% от общего числа вынесенных приговоров. Суды присяжных, где ослаблено решающее влияние следствия, неквалифицированно или тенденциозно расследующего обстоятельства преступления, выносят более 20% оправдательных приговоров, но сфера компетентности таких судов в последние годы резко ограничена.

[14] Почти столько же или даже несколько больше в совокупности насчитывают внутренние войска, занимающиеся охраной заключенных, подразделения ОМОН, полиция и частные охранные агентства.

[15] Lipman M., Gudkov L., Bakradze L. The Stalin Puzzle: Deciphering Post-Soviet Public Opinion. Ed by Thomas de Waal. Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 2013.



EUROZINE

[16] В определенной мере этим объясняется почти всеобщее доверие церкви, носящее характер магии , трансферта ответственности или компенсации чувства моральной несостоятельности постсоветского человека. – см.: Зоркая Н. Православие в безрелигиозном обществе // Вестник общественного мнения, 2009, №2 (72), с.66-85

Published 2 July 2013

Original in **German**

First published in **Osteuropa**

Downloaded from eurozine.com (<https://www.eurozine.com/fatal-continuities-2/>)

© Lev Gudkov / Osteuropa / Eurozine